

Шале ДАДИНИ

ПОЭТ ГОР

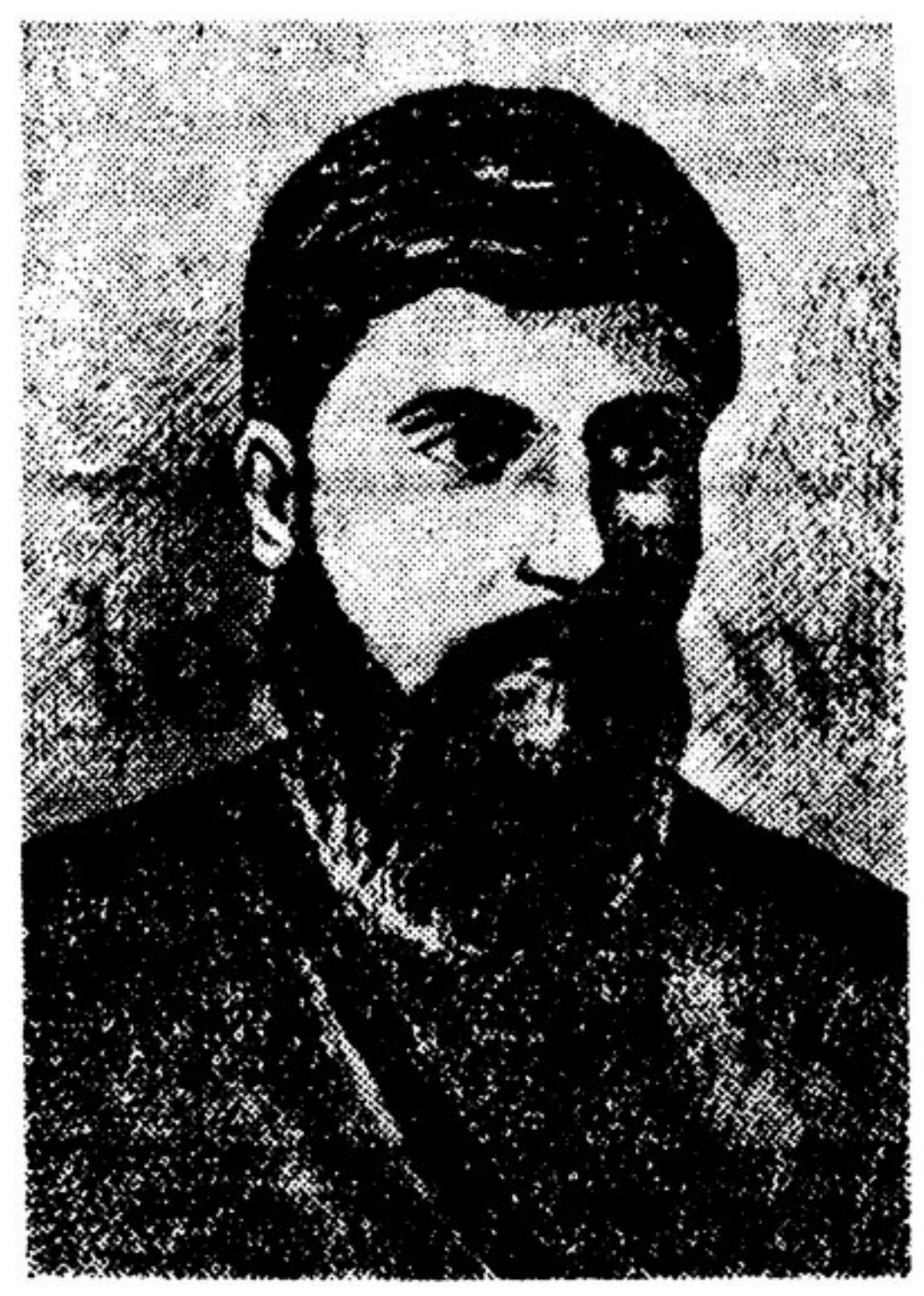
Исполнилось тридцать лет со дня смерти Важа Пшавела, одного из крупнейших грузинских поэтов (1882—1918). Когда Важа ушел на литературно-общественную арену, Илья Чавчавадзе, впоследствии дум-сводго и последующих поколений, сказал: «Что ж, поза бросить перо. Важа Пшавела всех нас перерастет».

Не легкая жизнь выпала на долю Важа. Он вырос в широкой общественной деятельности, жаждал всенародного признания, без которого трудно творить поэту и на которое он имел неоспоримые права, тянулся к культуре, приобщился к которой ему, рожденному в горной глуши, не удалось в юные годы. — а на пути его вставали все новые, непреодолимые препятствия. Грузия в ту пору кинувала в тисках реакции. Грузинские журналы перебивались из-за дня в день, под постоянной угрозой закрытия. Цензура горко слезала за печатными словами. А Важа не умел ни гнуться, ни приспосабливаться. Он предпочитал смерть, но со славой, чем бесславных дней поэты. В лице его, в речи, во взгляде, во всей его, точно высеченной из камня,стройной фигуре чувствовалась эта стойкость нарда со стремительностью и неисчерпаемым запасом сил.

В своем творчестве Важа живет деинами грузинских исторических героев, охранявших границы родины от иноземных орд. В лирике, в чудесных своих пейзажах, он отразил прелесть своей страны, с ее звенящими потоками и закорманными в дедные дощипы хребтами.

Иной раз очарованному звучащему его мужественных строк слушателю кажется, что сам поэт как же, как его герои, в доспехах, в руках его «шит и меч». Его мысль проста и стремительна, он словно говорит языком своих героев.

Вот почему поэта-пшаву когда-то осуждали за то, что он пишет «слишком по-горски» — что его произведения — будто бы перелеты фольклора, и не разбираешь, что созданы эти шедевры — сам народ или поэт. Теперь и знатоки литературы и читате-



Важа ПШАВЕЛА

лям ясно несомнительность этих утверждений, они плод поверхностного подхода к творчеству Важа. Конечно, близость созданных им произведений к образцам народного творчества свидетельствует только об исключительной одаренности поэта. Он с поразительной силой применял в современной ему литературе оружие, которое в течение веков выковал народ — его язык, его мелодия, его легендарные сюжеты. Важа в этом отношении единственный в своем роде феномен не только в грузинской, но и в европейской литературе.

Ныне эта ошибка устранена советскими литературоведами. Публицистические произведения Важа особенно отчетливо свидетельствуют о широте и разнообразии его интересов, о глубоком знании мировой ли-

тературы; многие страницы полемики Важа с современными ему критиками сохраняют свое значение до сих пор.

Появляясь в литературных кругах, он был сдержан, интеллигентен и нетерпелив. Но с какой нежностью и с какой щедростью раскрывалась его душа перед теми, кого он любил и кому верил. И стихам, улыбаясь, ласковым являлся он во время народных празднеств; участвовал в состязаниях, истово исполнял древние обычаи. Важа был прекрасным стрелком и страстным охотником. Горе тому, кто помет бы поди на него руки; он был физически силен, как богатыри его поэм.

Я много моложе Важа и, к сожалению, не был к нему так близок, как некоторые из его сверстников. Встречались мы с Важа на литературных вечерах. Его принимали восторженно, как любимого и почитаемого поэта. Читал Важа просто, откровенно, громко; он каждое слово со своеобразной горской интонацией — глухо, как бы сквозь скальные зубы.

Помню, однажды за столом я впервые услышал из уст поэта его прославляющую песню:

Надей, дай выпить
Это вино окаяное,
Авось похитится мне,
Будто превратил мир
Отны на праведный путь...

Эти строки были впоследствии положены на музыку композитором З. Папиашиви, введенны им в оперу «Данис» и стали одной из любимых песен грузинского народа. Думается, что в этом маленьком, написанном в годы юности стихотворении, уже слышатся лейтмотивы всей поэзии Важа: борьба с неправдой, с «превратностями мира», тоска по справедливости, по чистоте человеческих отношений, могучая воля к свободе, провозглашение отчаяния.

Грузинский народ любил и почитал своего поэта, но подлинное признание его значения пришло только после установления в Грузии советской власти.

Евг. ЛУНДБЕРГ

Поэзия подвига

«Читаю и перечитываю его книгу», — пишет Ал. Абашти в стихотворении, посвященном памяти Важа Пшавела. — с ее страниц срываются орлы и плещет пламень мечей; невольно в своем глумлении, чтоб не опало из тем плутовства. Так воспринимает современный грузинский поэт творчество Важа Пшавела — через тридцать лет после его смерти, когда о нем уже пишут диссертации, выходят академические издания его произведений, по крохам собираются данные о его жизни.

А как должны были вздрогнуть и насторожиться люди тусклых восьмидесятых годов, когда в круг их неожиданно ворвался страстный, неунывающий, гордый, насмешливый юноша-пшав со своей конгурой! Он пел песни, о которых тогда никто не мог сказать, что это песни: Важа или породившего его народа?

Десятки лет шел скучный спор между критиками о том, что такой Важа Пшавела, а голос его становился все прекраснее, мысли шире, народ любил Важа и поверил ему. Десятки лет ждал Важа Пшавела общественного признания, белестова, замкнулся в своем родном Чаргале, пахал землю, охотился, боролся за свой дах, в конце концов устал, усомнился в силе силлах, но упрямо продолжал творить по ночам при свете лунны, под вой волков и метелей.

«Важа Пшавела стоял как бы особняком в истории новой грузинской литературы», — утверждает его комментатор Н. Кикодзе. — Утверждать было бы несправедливо. Ни лирика, ни поэмы, ни проза Важа не укладываются в рамки предписанного канона поэзии. Он был во всем другой — в восприятии человека, в любви и преданности, в трактовке пейзажа, в страстности своей лирики. Поэты обращались к народной поэзии, как к источнику вдохновения. Важа сымальства непосредственно жил из этого источника, народную поэзию воспринимал он от матери, от прохожих, от товарищей по играм.

Он был сыном крохотного свободолыбного племени, которое до Октябрьского революция сохраняло общинное устройство, родовый быт, верования и обыаи неужитого язычества, преклонение перед личным мужеством. Правда, община, «тема», начала уже распадаться, капитализм потихоньку проникал и в эти горные твердыни, между преданиями и действительностью происходил уже явный для многих разрыв... Но все же, когда Акакио Церетели или Илья Чавчавадзе нужны были образы славных героев, они обращались к летописям и книгам ученых историков, а здесь, около дома Важа Пшавела, образы эти бродили, как тени, которые можно уловить, с которыми еще так недавно кто-то беседовал, как беседует с живыми.

«Служить стране — значит разбираться в том, что в ней хорошо и что плохо, понимать, что ей нужно, и передавать свое понимание другим».

За образцами литературы, которая верой и правдой служит своей стране, «ходить недалеко» — перед нашими глазами разворачивается история русского искусства, начиная от Ломоносова, русская литература стремится удовлетворить эти жизненные запросы («Беская вечина»). Тот же круг мыслей лег в основу статьи Важа Пшавела

как будто традиционные — борьба с врагом, мужество, верность, героическая смерть. Трагиком же их осложнена критическим отношением к современности и попыткой взглянуть в будущее. Так, неаполитанский народный сказ о разбойнике Апшине он превращает в поэму, в которой прославляется мирный труд и братство. Пшавский богатырь Готгур одолевает Апшину не только физически, — он заставляет разбойника преклониться перед его правдой. В поэме «Алуда Кетелуари» Важа ставит уважение к мужеству выше мести. В «Этери» унижает злых, возмещает добрых; последние гибнут, но смерть их не приносит радости злодею. В «Госте и хозяине», одной из лучших поэм Важа Пшавела, герои борются за высшую правду, за очищенное от пороков и мелочных наклонностей «тема», за человеческое содержание.

Не круши свое сердце, поэт.
Взмахни острым мечом,
— Ряди злата,
Будь другом другу...

«Наг и бос жожу по свету, голодая, холодая» — поэт он в песне, посвященной молодым поэтам. — Многим в этом бременном мире доля выпала такая. Поэт не одинок, и нищета его не личное несчастье, а следствие существующего порядка вещей. Так есть, но так не будет.

Начал Важа Пшавела прославлением подвигов пшавских богатырей. В элоху расцвета таланта его понятие доблести неизмеримо расширилось. Как ни великодушны были Гиги, Готгур, Алуда, — «подвиги скорой» и «подвиги мысли» выше их непосредственного молодечества. «Когда-то человеком величали того, у кого сильная рука, кто вооружен мечом», — говорит Важа в поэме «Картлос и Хаос», — нынче человек тот, чья мысль выше, чьему слову разум указывает путь...

Многие поэты старшего поколения и сверстники Важа обладали более широким политическим горизонтом, чем он, но никто из поэтов Грузии не заглянул так глубоко в природу поэтического слова, не рассказал так убедительно о взаимоотношениях поэта и народа.

«Замечания по поводу «Витязя в тигровой шкуре».

В лирике его так же упорно возвращается к мысли об общественном значении поэзии, как в эпосе — к теме героизма и преданности родине. В «Жалобе свирельщика» поэт говорит, что он влезал за свирель, потому что страдания мира разрывали ему сердце.

Прост и прекрасен ее голос,
Пождемю бескорытно
Не жуеж ваш абаза...

В годы реакции Важа радуется уже не «простому и приятному голосу» поэзии, а ее организующей силе. Он мечтает с ее помощью «укрепить родину единством мысли и чувства»:

Не круши свое сердце, поэт.
Взмахни острым мечом,
— Ряди злата,
Будь другом другу...

«Наг и бос жожу по свету, голодая, холодая» — поэт он в песне, посвященной молодым поэтам. — Многим в этом бременном мире доля выпала такая. Поэт не одинок, и нищета его не личное несчастье, а следствие существующего порядка вещей. Так есть, но так не будет.

Начал Важа Пшавела прославлением подвигов пшавских богатырей. В элоху расцвета таланта его понятие доблести неизмеримо расширилось. Как ни великодушны были Гиги, Готгур, Алуда, — «подвиги скорой» и «подвиги мысли» выше их непосредственного молодечества. «Когда-то человеком величали того, у кого сильная рука, кто вооружен мечом», — говорит Важа в поэме «Картлос и Хаос», — нынче человек тот, чья мысль выше, чьему слову разум указывает путь...

Многие поэты старшего поколения и сверстники Важа обладали более широким политическим горизонтом, чем он, но никто из поэтов Грузии не заглянул так глубоко в природу поэтического слова, не рассказал так убедительно о взаимоотношениях поэта и народа.

К. ЗЕЛИНСКИЙ

Стихи Иоганнеса Семпера

Перед нами книга стихов эстонского поэта Иоганнеса Семпера, вышедшая в Гоститзидате. И хотя эти стихи переводные (то есть преломленные через другую индивидуальность и стихотворную технику), но в них вытнато звучит повесть о большой человеческой жизни. Здесь и «спорывы юных лет, и жарыи сил, и крайность мнений» (Блок). Это стихи, рожденные на рубеже двух миров, отмеченные высокой культурной прилогле, сто и столь же глубокой устремленностью к гуманистическим идеалам социализма, стихи, впитавшие отражения поэзии Беркарна и Уитмана, Блока и Барбюса и в то же время убежденное естественностью и правдой своих чувств.

Книга И. Семпера в русском переводе состоит как бы из трех глав, представляющих избранные произведения из трех сборников, рисующих внутренний путь поэта почти за два десятилетия. Первая глава — это стихи из сборника «Солнце в канаве», составленного из стихов двадцатых годов. Эти годы Еврония — не названный, но ошутимый в книге с историческим подтекстом. Это годы, когда в чувстве внешнего благополучия и последующего успокоения вылетались тревожа клнчсыво. Где же солнце и где его сияние? В камне ли вылетает оно, или бласк лучей его с неба передан тем тысячным луку, о которых когда-то писал Горький?

Стихи, составившие сборник «Солнце в канаве» — это стихи-пейзажи и стихи-настроения. Они называются — «Сверкающая весна» или «Обнаженная весна». «В обнаженной» или «Смерть в лесу». «Осенняя импровизация» или «Осенние листья». Но пейзажи для всякого истинного поэта — только внешняя «тематика». Разве поэт, рисуя над омутом, ставит себе задачу лишь показать выразительные купальнички и рыболовов?

Подлинной темой этого цикла стихов И. Семпера является тема преодоления пессимизма. «О, как ты воешь, ветер ночной!» — приунывшись, восклицал Тютчев, великий поэт предчувствия и тревоги, «О, запахи осени и берега! Как сердце мечется в тревоге!» — начинал свое стихотворение «Встреча» И. Семпер. Поэт возмущается в «дом отчий», где не был столько, сколько лет. Классическая тема лирики. Тема возвращаия, тема печали. Прелюбимая жизнь — ушла. И томит сердце ее исчезновение: «О, страшный мир, чужой и грозный, сегодня горек ты и пуст». Но гораздо чаще мы встречаем у Семпера мотив преодоления «грозного и чужого мира». И та же тема уже звучит иначе в «Возвращении домой», переведенном М. Замаховской:

И только ветер в полях,
и тени с воды морей,
но мнe не грустно,
потому здесь, точно стих.

В соседстве с печальным миром удивительным ликованием звучит «Сверкающая весна». Советский читатель отметит в этом стихотворении и его человечность, и желание поддаться радости.

Для понимания путей развития поэзии Семпера как кажется характерной «Осенняя импровизация». Идет осень. Созвучию ей грустные дни. Печаль туманом готова затянуть душу. Но в ней живет и другое время года, и она не улетает саявксы: «Все скучно и мучительно, в будни погружения, так пусть моя песня займется спирально несень!» Осень требует введения своей темы, она хочет, чтобы поэт «воспел вострой едкий, могучий похлупный лен, всплес моем «яс, расплылись, как сон»:

Но в сердце моем поднимается лев — лететь, лететь в вышних ветрах.
И джаныи невинно, нежных строк и жаныи и к оуре голуб.



Иллюстрации и обложка художника Ю. Рейера к книге Н. Чукоского «Водители фрегат» (Военмориздат).



В. ГОФЕНШЕФЕР

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

— Хотите познакомиться с интересным человеком? — спросил меня майор Д., — Оленчук, проводником Фрунзе?

Это было в дни боев на Сивашском плацдарме. Повторяю побег войск Фрунзе, наша армия 1 ноября 1943 года форсировала Сиваш и укрепилась на ключке крымской земли. Легендарное событие времени гражданской войны встало перед нами во всей своей реальности. По масштабам оно уступало тем событиям, которые развернулись на Сиваше сейчас, но героический дух бойцов Фрунзе был нам дорог, как знамя, и вдохновлял красноармейцев.

Для писателя, работающего в армейской газете, Оленчук был находкой. Он олицетворял историю.

На следующий день Оленчук пришел ко мне. Заслонив собою узкие двери хатки-землянички, передо мной стоял крепкий полный старик.

— Оленчук Иван Иванович, — отрекомендовался он. Сиваш шапку-ушанку, он сел на табурет. Затем вытаскил из кармана платок и, вытирая им увлажненную пришивальным туманом бороду, стал внимательными глазами умного деревенского человека пытаться глядеть мне в глаза. Как раз в те дни наше командование решило направить Оленчука за прошлые заслуги и за консультативную помощь при нынешнем форсировании Сиваша. Призывая к рассказам, он спокойно смотрел на меня, ожидая, с чего я начну разговор.

О том, что я работаю в газете, я ему не сказал. Беседа началась с разговора о погоде (погода стояла плохая), о здоровье Оленчук пожаловался на боль в ногах), о капризах Сиваша и наших боях за Крым. Постепенно мы добрались до того, что меня интересовало. Я попросил Оленчука рассказать подробней о встрече с Фрунзе. Он охотно согласился и на своем русско-украинском языке, ставшем характерным для Приазовья, начал повествование.

Рассказывал он легко, останавливался на интересных деталях, и все это было так живо и свежо, будто случилось вчера. Я взял в руки карандаш и, прервав Ивана Ивановича, попросил его говорить помедленнее, так как все это очень интересно, и то, что он рассказывает, надо обязательно записать.

Приношу эту запись в сокращенном виде. Вот она:

«Было это в январе 1920 года. К нам в Строгованку пришла Красная Армия. Прохорало советское войско белогвардейский фронт у Каховки и вышло к Перекону и Сивашу. Врагеленыи из нашего села бежали. Из войск белой армии дожуриал кавалерийский Алексей Вдовиченко остался. Его потом крысье к своему штабу приставили, вроде посыльного.

Через неделю после того, как пришла Красная Армия, прибежал ко мне дежурный — кварталный Алексей Вдовиченко и с ним военный кавалерист.

«Скорей, говорит, собирайтесь. Вас вызывают в штаб». — «Кто вызывает?» — «Не знаю, — говорит, — я слыш военный». Прихожу до штаба, а сяду над Сивашом он был. Кавалерист ведет меня в хату.

Виду — длинный стол стоит, а за ним человек семь сидят. «Добрый вечер», говорю. — «Добрый вечер», — отвечают.

Потом один встал и говорит: «Пройдите, прошу вас, сидите на стула, — и стул мне подвигает. А дежурному приказывает: «Засветите лампу!» Засветили. Вижу — все военные. А один сидит красный, с усамн розоватком, в защитной гимнастерке. (Потом узнал, что был это Фрунзе, а то не знал). Перед ним большой лист бумаги лежит.

Фрунзе вежливо так спрашивает мое прозвание, имя и отчество. Я отвечаю, а сам думаю, что же дальше? Срафелил немного. А Фрунзе говорит: «Вот что, Оленчук, вы Сиваш знаете?». Мне стало легче. «Знаю, говорю, хорошо знаю!».

А как же мне было не знать! Еще мальчишкой по крупам, что над Сивашом, лаял, утиние крашенки из нор доставал. А потом солдарком был, каждую ямку в Сиваше знал.

Фрунзе говорит: «Так вот скажите: я он сейчас Сиваш — сухой или мокрый и можно ли пройти?» — «Всяк бывает, есть и мокрый, чахлаки, пыльные места. Можно их обойти, если знаешь».

«А ширину знаете?» — «Це уже я вам не могу сказать, я не мерял», — говорю.

Тут Фрунзе выспался из коробки спички на карту. Складая их, складая и говорит: «Восьмь мест будет».

Потом стал меня спрашивать про хутора на той стороне. Я ему рассказал и сказал еще, бо бачил там укрепления — пулемет на пулемете!

«Так вот что, Оленчук», — говорит Фрунзе, — вам предстоит ответственное задание: показать Красной Армии путь через Сиваш. Мы нас хотим взять проводником».

Задумался я, дело серьезное. А у меня семь душ в семье. Фрунзе усмехнулся, хлопнул меня по плечу и говорит: «Не робейте, Оленчук. Мы знаем, что вы бедняк, а мы бьемся за бедноту, за диктатуру рабочего класса. Так вот, будьте добры, помогите нам».

«Хорошо», — говорю, — иду! Только сговором: дасти мне винтовку». А он отвечает: «Не надо вам орудия. Вы только проводник. Проведете нас на тот берег и обратно вернетесь. Нам не надо, чтобы выиш дети сиротами остались. Теперь вы свободны. Когда надо будет — потребуем».

5 ноября меня снова вызвали в штаб, посадили на подводу и повезли в Григорьевку. Там меня причислили к части. А 7-го — перебраздывали и, как только смеркло, стали строиться. Вышел я на площадь, а там целая армия стоит! Это были те дивизии, которые с Владимировки должны были переправиться. А меня карьером повезли обратно в Строгованку. Когда меня привели туда, над Сивашом уже выстроил весь голышовой отряд. Командир говорит мне: «Оленчук, вперед!».

Только тронулись, как белогвардейцы стали прожекторами светить и артиллерией — пристреливаться. А здесь еще ветер подул восточный, жесткий. Итти ржело. «Ну, думаю, плохо дело». Но только прошли мы с километр, как спустился густой туман. «Талан, талан», — говорю, — товарищи! Пржекторам такого тумана не пробить!».

Шли мы быстро, без шума, потому что должны были с фланга на Литовский полуостров выйти, перебить первую линию белогвардейцев, чтоб дивизии легче было переправиться. У того берега ветер возу нагнал. Ребята стали встречать. Но никто не жаловался. Потом вышли мы из воды, уткнулся я в обрывистый берег. «Вот, товарищи, дошли!».



Иллюстрации художника Н. Кузьмина к «Евгению Онегину» А. Пушкина (Детгис).

Другая глава сборника И. Семпера — «Колесо ветров» включает стихи тридцатых годов. В ней тема единбоства с пессимизмом выведена за пределы одинокой души. Мир становится шире, присоединяются впечатления от других стран, путешествий, сама тема приобретает социальное наполнение. В этом цикле стихов хорошо дано море и с описательной точки зрения и по тем ощущениям глубиной и мощи бытия, какие всегда у нас связаны с морской стихией, — это чувство есть и в стихотворении «На Атлантике» и в «Море», где «берега» неясно — открытые ворота облака — онечь ширеть, лебедий пух». И море вырастает в поэзии Семпера в некий символ вечною обновления или человеческих:

Море ты рошло в меня, как жарозапла, Попада оставался гуна — дымный след. Хоть люблю еще вострой мой и страдальце, протрети не жаль ми край былых ступ.

Забывшись, здесь мученья и укоры. Вездь лютоней обман не нужен тебегам. Вижу и весте срывалые процветы, и чашница этой радости — я сам. Я лнцкую вновь сияние вод и бже, трыкая и рок, и жвь, и твз, и сенья. Море, ты весте иужней, ты пробое хлеба, ты теллей обятий и слезей сватыны.

Нет, это уже не верхаирионский «дик великий, та идея моря, что звала к себе великого белийского поэта «вдыхать плывицу, лебедий пух». И море вырастает в поэзии Семпера — образ, противоположный «краю суши»; а в этом «краю суши» перед глазами поэта стоит образ матери с трехлетним ребенком на руках у дверей торьмы (стих «Премудр»). Отрицание социальной действительности у Семпера обозначается в стихах этого цикла уже совершенно отчетливо и настоящей. В эти годы в Эстонии утверждается реакция, и мысли о судьбе родины, о народе, о назначении поэта начинают громче звучать в стихах Семпера. В стихотворении «По поводу одной смерти», посвященном Апо Барбюсу, Семпер прямо пишет: «Идет твое слово будет, если кругом мацнцы, как пробуждающий сонель народа, а дни смененыи жуаия сенья и правды созидане. Воздуха нехватает. Сердцу нужна свобода». Это были те слова, которые должны были сказать перед лицом фашист-

Отряд — с ходу в бой. А здесь подоспели дивизии, артиллерия. Два года воевал я в Каргатах, но такого бы еще не видал. По всему Перекону и Сивашу сквозя туман огонь подыхал и грохот стоял...».

Потом Иван Иванович рассказал мне про то, как его заинтересовала нынешняя операция по форсированию Сиваша и как его сиял вел через Сиваш одну из наших разведывательных групп. Разговор коснулся предстоящих боев за Крым.

— Знаете что, Иван Иванович, — обратился я к Оленчуку, — хорошо бы было, если бы вы рассказали через газету нашим бойцам о том, что было в двадцатом году, обрлщались бы к ним со словом участника тех событий.

И тут я признался, что работаю в газете. — А-а для газеты! — встретился Оленчук. — То я знаю, я надо. Я буду говорить, а вы записывайте. То я знаю...

Он ажмурил глаза, некоторое время молчал, напрягая память. Потом, ткнув пальцем в мой «Блокнот, сказал: пиши!

И торжественно, каким-то чужим голосом начал произносить, именно произносить, а не рассказывать.

«В моей памяти навсегда сохранилось яркое воспоминание о тех исторических днях, когда в наше село Строгованку прибыл великий пролетарский полководец Михаил Васильевич Фрунзе».

Мы видели, как непрерывным потоком уходили и выходили из его штаба командиры, комиссары и красноармейцы. Все они были напряжены, подтянуты и молчаливы. Чувствовалось, что должно было произойти нечто важное. И все они горели бы на все подвиги за счастье трудового народа. И мы, старики, тоже горели и желали вступить в решительный бой...».

Иван Иванович прервал свою диктовку. Я оторвался от блокнота и увидел, как замурвив глаза, он снова старается припомнить то, что считал важным.

Предполагая, что я его тороллю, он быстро произнес:

— Одну хыльчанку, товарищ майор! За-ра-скажу.

И снова над его переносом легла складка мучительного напряжения памяти. «Водоушевные единым стремлением...» — неуверенно произнес он.

Сперва же строк его диктанта я понял, что он вспоминал не то, что видел и что чувствовал двадцать два года назад. Он вспоминал слова, слова газетной заметки, которую когда-то написал за него какой-то немудрый журналист.

Меня тронула любовь старика. Он искренне хотел облегчить мне задачу и предподнсти свой рассказ в готовой форме.

И меня сразила злая ирония, выглянувшая из всего этого эпизода.

Это была страшная муть яркой и своеобразной жизни, обделенной и изуродованной литературными ремесленниками.

И я хотел огорчать Ивана Ивановича и добросовестно записал все, что он продикутовал. Но в газете я напечатал то, что он рассказывал не для газеты.

